

ИЗ ЦИКЛА «СТРАНСТВИЯ»

...В начале апреля посетил в Хамовниках дом Толстого¹. Несмотря на блестящий день, весеннее сияние голых деревьев, запах почек и сырой земли, впечатление тяжелое. Дом давно не топится, в нем холод, сырость. Особенно тяжело в тех двух низких комнатах с топорными креслами, обитыми черной кожей, очень потертой и в складках, где жил он сам. На стене висит его старая меховая шуба, на полу — разбитый кувшин и старое деревянное судно, у одной стены столик с сапожными инструментами... Все бедное, жалкое, следы жизни уже давней и забытой!

Вспоминаю Остафьево, где был перед этим. Там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: черный жилет, белая бальная перчатка, оранжевая палка с ременной кисточкой... Потом — восковая свеча с панихиды по нем²... Смотрел — стеснялось дыханье. Как все хорошо, безжизненно и печально! Век еще более давний и потому кажущийся гораздо богаче, тоньше...

...Недавно, в прекрасный сентябрьский вечер, шел в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук! Золотой, глухой, подземный... На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонек неугасимой лампы и лежали свежие цветы³. Возле стояли, кланялись и крестились старичок и старушка, очень старомодные, милые и жалкие. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу. Старичок ответил: «Монахи. А вы думаете, что все погибло? Нет еще...» — затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку: «Пойдем, пойдем, ты совсем впал в детство», — и повела его, плачущего, по дорожкам к воротам.

...Вчера весь день несло страшной вьюгой. Ночью, возвращаясь домой, думал, что погибну в снежной пустыне своего переулка.

Нынче пришлось быть возле Красных ворот. Вечерело, было снежно, тихо, всюду тоска и грусть. Я вспомнил, что тут, где-то близко, в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного⁴. Отыскал тупик, спустился немного и вошел в ворота широкого, занесенного снегом двора. Неожиданно открылась какая-то странная глухая усадьба, и спереди и с боков состоящая из теремов с крылечками и маленькими окошечками. Снег был свеж и настолько глубок, что я тонул по колено. Единственный след чьих-то очень больших ног вел к главному крылечку. Я пошел по следу, надеясь, что в доме кто-нибудь есть, — там теперь музей. Поднялся на крылечко — дверь оказалась заперта, хотя на ней и висело под стеклом объявление, что музей открыт каждый день от девяти утра до пяти вечера. Я стал стучать — ни звука в ответ. Откуда-то из-за дома вышел мужик в теплом картузе, в длинной стеганой куртке и, не обращая на меня внимания, пошел по двору. Я его окликнул:

— Музей открыт?

Он приостановился:

— Закрыт. По воскресеньям только открыт.

— А почему же висит объявление, что открыт каждый день?

— Да так висит, не снимают...

Я пошел к нему, и мы вышли из снега к крыльцу одного из флигелей.

— А что, интересно в музее?

— Есть люди интересуются, говорят, хорошо.

— А как по-вашему?

— Как-то не могу понять. Не могу вам разъяснить. Там, конечно, разное украшение старинное, разные орудия, всякие топоры, молотилки... Все собирали...



«ОСТАФЬЕВО», БЫВШАЯ УСАДЬБА КНЯЗЕЙ ВЯЗЕМСКИХ (1801)

Фотография В. С. Молчанова, 1966

Он легонько вздохнул. По его тону можно было заключить, что он хочет высказать какую-то более глубокую мысль.

— А где же дом самого Ивана Грозного? Средний и есть?

— Средний. На его собственную ассигновку строен. Четыреста лет, говорят, стоит...

Он опять вздохнул:

— Да. Жили-наживали, хозяйство приобретали...

Темнело, и опять стало белеть в воздухе, опять пошел снежок на этот глухой обширный двор, на старые, с грубыми деревянными лафетами пушки, которыми обставлен он...

...Июль был мрачный — каждый день грозы, ливни: свинцовая чернота неба над жутко-белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающие удары грома, от которых звенят стекла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-папиросники на Кузнецком и Неглинном разделись и плавали. В тот день я как раз опять уезжал из Москвы в гости к одним знакомым, на дачу: вода местами шла выше колесной ступки, от нее кружилась голова...

Знакомые — муж и жена (и, как это ни странно по нынешним временам, в нашем кругу, молодожены); пара вообще не совсем обычная: она женщина молодая (и очень серьезная), ему лет шестьдесят, хотя человек он очень живой, бодрый (небольшой, сухощавый, юношески легкий в движениях); оба занимаются русской историей, — он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача — недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном поселке; всего сто верст от Москвы, но в леса, в болота, к северо-востоку, и потому край опять глухой, старинный: «черное место, дикой лес, мокрая болотина...»

Жили мы скучно, неуютно. Изба не в поселке, а как-то сама по себе, на отлете, на месте недавно срубленного леса, среди пней, щепы и сучьев. Еще без фундамента — только на столбах по углам, так что все заходил под нее чей-то петух и очень рано будил меня по утрам, орал под самой кроватью. И, проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами... Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углем, дымил ужасно, выедал глаза, не грелся по часу, по два. А вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зеленый...

Муж ходил в довоенных сереньких штанишках и в мужицкой рубахе, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем по-крестьянски — тоже бахилки и суровая рубаха до пят, расшитая по рукавам и подолу красными елочками. И одевалась она так не только по необходимости: видела в этом опрощении свой долг и даже радость. Молчаливая, черноглазая, она все твердила о древней, мужицкой Руси, к которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, неисповедимые, что бог послал нам великую милость — пострадать и в страданиях, как в огне, очиститься... Сны она видела только вещие, думы думала все загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни, собиралась идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по ее словам, предрек наши дни в точности: открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества...

Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько верст лесом. День был сумрачный, над соснами, над просекой, по которой мы шли, скоплялись сизо-белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно — как только мы подошли к станции, черный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождем с градом...

...В жаркий день, в конце апреля, ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: «Это, должно быть, туда, где церковь с синим кумполом». Шел еще долго, очень устал. Но весна, тепло, радость, — было удивительно хорошо. Увидал, наконец, древний собор, с зелеными главами, которые мужик назвал синими, как часто называют мужики зеленое синим, увидал весенний сквозной лес, а в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосафа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, узорами, зеленью глав, — в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нем синих и лазурных облаков...⁵

Теперь тут казармы имени Баумана. Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы в них выдраны, пол завален и мусором, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет дырами — вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи ливнем взвились с полу, с мусора, и усыпали иконостас по дырам и по выступам риз над ликами святых...

А как знаменита была когда-то эта вотчина! Вот кое-что из одной старой, редкой книги о ней:

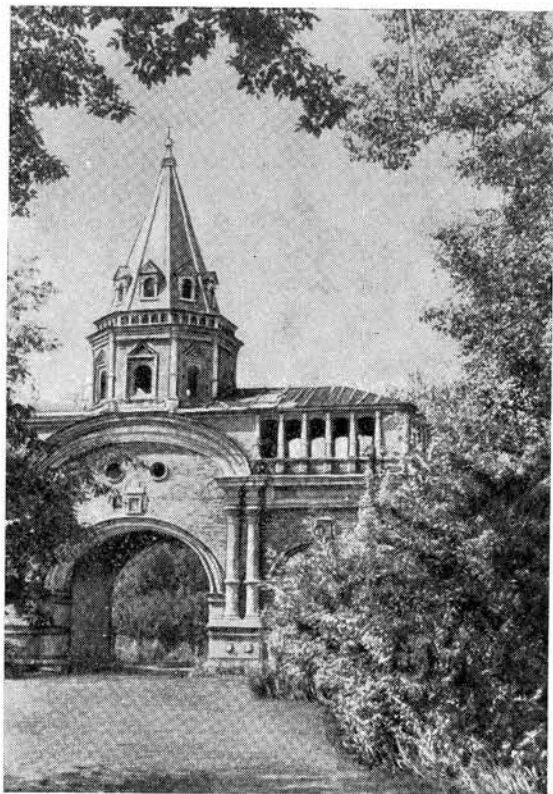
«Рощи 115 десятин. Рощи, числом 5, заповедные. Роща цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады, числом 32, аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льянной двор для мятия льну. Скотный двор, в нем 903 быка, 128 коров, 190 телиц и 82 тельца, 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нем 701 иноходец, кони, кобылы и мерини. Воловий двор. Виноградная мель-

БЫВШАЯ УСАДЬБА ЦАРЯ
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
В ИЗМАЙЛОВЕ (МОСКВА)

Западные въездные ворота (1682)

Фотография А. Н. Дубовикова,

1971



ница. Пивоварня, медоварня, солодовня, маслобойня. Птичий двор, в нем лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих родов. На мукомольне 7 мельниц. Стекланный завод... Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных представлений. Мост, мощеный дубовыми брусьями... 27 прудов, в одном щуки, в другом стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики...»

...В августе ездил в Троицкое, поместье Румянцева.

За станцией — не то лес, не то парк, дикий, дубравный. На выезде из деревушки — памятник, очень странный в соседстве с мужицкими избами: Екатерина в греческом шлеме и какая-то богиня со змеей вокруг ноги, а под ними надпись:

«От Екатерины дана сему месту знаменитость, навсегда оглашающая заслуги графа Румянцева-Задунайского».

За мостом через ручей, среди вековых берез, — прекрасная церковь с двумя колокольнями, напоминающая некоторые римские церкви. В часовне при ней, тоже очень красивой, стоит громадная яшмовая гробница последнего Румянцева. Возле часовни — огненный куст настурции.

Кругом, из-под темных деревьев, сквозь их стволы, видны далекие деревни, сине-лиловые леса, золотом горящие на солнце жнивья.

Дальше — бесконечно длинная, страшно высокая аллея. Еще дальше — развалины дворца, пролеты в развалинах стен... ⁶

...Прошлое воскресенье провел в Троицкой лавре. Облазил все стены, все башни, подземелья...

В соборе, там, где стоит открытая серебряная рака, горит только одна лампада. Мощи как-то мелко лежат на дне раки, в каких-то почерневших, до ужаса древних остатках ветоши... Кругом плотная толпа — бабы, мужики, старухи с крысиными глазами. Ни страха, ни благоговения, ни вздохов — ничего. Только любопытство, кое-какие замечания, иногда остроты и смех...

В ризнице — кафтан Ивана Грозного: потертая золотая парча на голубом шелку, с золотыми шнурами⁷. Концы рукавов истерты особенно, а низ левой полы весь изорван, из него торчит слой ваты... Тупо смотрят и на кафтан.

Во дворе собора по-прежнему нищие, калеки, недужные, «пораженные язвами и червья воскипением...» Лежат, сидят, переползают... Костыли, лохмотья, головы, повязанные платками и тряпками, безносые или безгубые, с кровавыми, как бы выдранными глазами или с оловянными бельмами, тщетно ищущими зрения... «Подайте слепому, безрукому... Кормители, питатели... Обратите внимание...» Бодро и деловито прошли среди этой орды два рослых монаха: один здоровый мужик в гимнастерке и грубых сапогах, в черной шляпе, с двумя русыми косами, другой в рясе — круглолицый красавец Алеша Попович с шелковой каштановой бородкой, с темно-синими, как бы налитыми маслом женскими глазами...



...После дождей — опять светлая, тихая осень. Ехал странно: заливной звон колокольчиков под росписной дугой, тарантас, тройка... Только тройка — три задранных клячи, тарантас — допотопная рухлядь, ямщик — в сплошных заплатах. И ни души встречной за всю дорогу. Ямщик сказал: — Теперь все пошло на старый жребий!

В монастыре Саввы собор 14 века, теперь всеми забытый. Поднялся на крутую гору, на Старое Городище. Там тоже древняя церковь — одиноко белеет на самой верхушке⁸; за ней древние земляные укрепления, вековые громадные сосны. Кругом ясная и четкая пустыня полей и лесов, солнечная теплая колкость...



...Суздальские земли грустны даже летом. Лесистые холмы, река. Краски — зеленые, лиловые, синие — очень густы и неприятны.

Нынче к вечеру небо на закате обложилось непогожими тучками, по реке пошла кирпичная рябь. Какие-то мужичишки-рыболовы, выплыв на реку, стоя и качаясь, наклоняясь в своих долбленных челнах, вытаскивали бредни. Я долго смотрел на одного из них, качавшего своим челном реку, на его кривые ноги, на изломанное личико с серой проседью под размятым теплым картузом, на линючую ситцевую рубашку на впалом животе... Вот они, создатели, зиждители суздальских обителей!

В одной из этих обителей мне попалась рукопись древнего монаха: «Замогильные летописи созерцаний». В ней есть такие строки:

О, жилище немятежное ближних моих друзей!
 Мирное обиталище всех утрудших в ней!
 Вертоград пустынный, краснейший Эдем!
 Небурное пристанище, юдоль, сладкая всем!

Вечерами в городе великая уездная глушь. Долго не темнеет, бесконечно стоит тускло-синий сумрак в пустых и широких улицах без единого



БЫВШАЯ УСАДЬБА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА В ИЗМАЙЛОВЕ (МОСКВА)
 Покровский собор (1679) и корпус бывшей богадельни (пристроен в середине XIX в.). Справа
 Мостовая башня (1671)

Фотография А. Н. Дубовикова, 1971

фонаря. Медленно бьют часы на древнем монастыре... для кого? Город точно вымер. Ложатся спать с вечера — целая вечность до утра! Мой сосед по жесткому дивану на постоялом дворе, какой-то мещанин, который спит, не раздеваясь и не разуваясь, всю ночь страшно скрипит зубами — точно новыми сапогами...

Видел одного местного начетчика. Он в поддевке, нескладно шаткий и высокий, с бледно-синими глазами. Пользуется большой славой. За ним приезжают из деревень, возят его на религиозные диспуты. Священное писание знает наизусть. Говорит очень громко, убежденно, сосредоточенно — и не позволяет сказать в ответ себе ни одного слова. Мужики им восхищаются:

— Какие ученые люди ни приезжали — не гожаются. Никуда! А какой мелкий придет, с двух слов забьет — и шабаш!

...На Волге видел Макарьевский монастырь⁹. Нанял лодку. Рыжий мужик, первобытный волгарь-рыбак, не спеша ворочал веслами, стоя в ней, и по зеркальной, тихой воде подвел ее к самому монастырю, к его древним стенам, из-за которых глядели главы шести соборов. В соборах все как было чуть не тысячу лет тому назад — незапамятная и нерушимая Русь: черные, средневековые лики икон, черная, средневековая олифа... Но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Живут тем, что возят по приволжским городам (на пароме) древний чудотворный образ. Я, когда плыл к монастырю, как раз встретил этот паром.

Он шел еще медленнее нашей лодки, в глубоком молчании. Золотые хоругви, белый престол с образом, белые балахоны возцов и черные рясы сопровождающих образ. Все фигуры — и белые и черные — сажень ростом, великаны...

...Опять весна, и опять живу в большой глуши — в тех самых краях, где несколько веков тому назад жил подвижник, про которого сказано:

Ты в пустыню суровую,
В места блáтные, непроходимые
Поселился еси...

Городок маленький, деревянный. Основан чуть не в самом начале Руси, стоит на мутной речке, нижний берег которой болотист, серебрится кустами ольхи. Середина города, очень малая часть его, окружена высоким земляным валом с тремя проходами. На валу еще заметно место, где была когда-то сторожевая башня. Вал зарос густой травой, в траве высыпали по весне желтые лилии. За валом древний собор, несколько деревянных домиков, два государственных здания и три березовых аллеи, в которых поют птицы. Некоторое пространство в этом зеленом кремле не застроено и тоже зарастает какими-то цветами. Тут же пруд, отражающий берега и весну. Вода имеет цвет фиалки. Возле пасутся лошади. Полное затишье, ветер сюда не заходит...

Я живу не в городе, а за городом, на горе. Город с церквями и собором внизу, на широком разлужье, полускрыт тополями и липой. С горы открывается даль: перевалы, холмы, кое-где покрытые лесом, кое-где — полосами запашек и озимей, идущих вниз как бы холстами: запашки — розоватыми (от песчаной земли), озими — ярко-зелеными. Дальше, за холмами, леса все гуще и темнее...

Край этот церковный, монастырский: куда ни глянь, всюду монастырь. Слева от меня, совсем близко, белеет каменной стеной и башнями по углам женский монастырь двенадцатого века. Он наполовину скрыт столетними, уже засыхающими деревьями, весь осел, врос стенами в свои зеленые берега. Вечерами под его тяжелые ворота с золотым крестом над ними идут черные фигуры монахинь. Справа — скит, дальше плоскодонный лог, а за ним невысокий холм, на котором, под старыми деревьями, раскинут старый погост, где козодой, не смолкая ни на минуту, тянут всю ночь напролет все одну и ту же жужжащую ноту. Птица эта очень идет к скитам. Вылетает она беззвучно из-под самых ног, повьется над головой, бесшумно трепещет крыльями, и опять упадет на какую-нибудь могильную плиту. Глаза у нее — два красных карбункула. Могильные плиты на погосте мшисты и загажены птицами, мшистые кресты серы, мягки, точно на них фланель. Есть, конечно, развалившийся склеп богатого купца, нелепый и безобразный, из черных окон-дыр которого пахнет нечистотами. А рядом чей-то новый крест, под которым лежат свежие цветы и густо вьются пчелы...

В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошел во двор монастыря, прельщенный красным огоньком, горевшим в келии под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки — полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. Золотой ангел с крыши притвора благословил двор. В притворе чернели две рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил ее показать, где на монастырском кладбище самые древние могилы. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумрак сада, среди смешанных весенних запахов — и сладких, и терпких, и каких-то



УСПЕНСКИЙ СОБОР «НА ГОРОДКЕ» БЛИЗ ЗВЕНИГОРОДА (XV в.
Фотография В. Ф. Дубовиковой, 1970



ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКАЯ ЛАВРА в г. ЗАГОРСКЕ (XV в.)
Фотография В. С. Молчанова, 1966

водянистых, травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся ее белый кашюшон. Она разыскала старую-старую могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, всю во мху, в порах и углублениях, суженную к одному концу. Буквы, насеченные на ней, покрытые мохом совсем черным, гласили:

«Лета такого-то (шестьсот лет назад)... схимонах Ферাপонт... рода Долгоруких...»

Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь тоже очень старые, есть шестнадцатого века. Среди этой северной ночи их серебряная, певуче дрожащая игра над монастырским садом и городом очаровательна. Особенно поздней ночью, когда все спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная. Что-то бледно-лимонное, тонкое освещает небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим, просветленным блеском. Мохнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, леса — темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов, очень сильные ночью, тонут в одном, особенно сильном запахе ландышей...

...У стен монастыря встретил однажды монаха из уезда. Он отвязывал от дерева старую лошадь с вытекшим глазом, запряженную в старомодную колымажку, на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подряснике и черной шляпе; лицо худое, длинное, редькой, в оловянных очках; на грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто-каштановых, с серебром. Разговорились, я присел к нему в колымажку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказывать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про святого, основавшего монастырь, и про знаменитого юродивого, погребенного в монастыре. Юродивый был «как бы Голиаф», ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяжелой собачьей цепи (и до сих пор хранимой в монастырской ризнице). Пришел в монастырь неизвестно откуда, ископал себе поблизости от него, в дремучем ельнике, землянку. Каждый день, услышав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти, — стоял на ней босиком и в одной рубахе, даже зимой, не боясь ни морозов, ни метелей. После обедни являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: «В аду еще жарче будет!» Как-то раз не пришел. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться: не случилось ли чего? А как нарочно шла сильная метель. Стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бору, гудел колокольный звон — его все не было. Когда стихло, пошли искать по лесам окрест — не нашли и в лесах. А потом пошел как-то на медведя мужик — и видит: лежит юродивый возле своей хижины, окруженный сугробами, но не на снегу, а на весенней зеленой траве, посреди благовонных цветов...

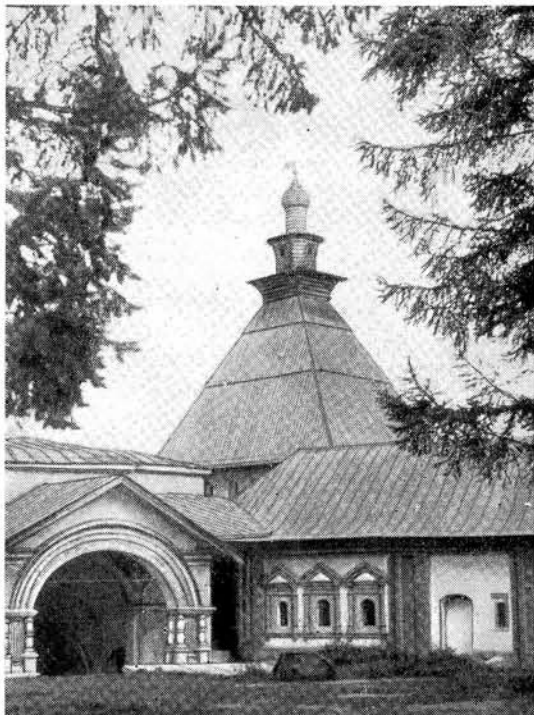
...Был еще в одном монастыре.

Пришел туда рано утром. Утро было солнечное, яркое. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба, из раскрытых церковных дверей слышалось пение. Церковь была пуста — только по обеим сторонам ее, против боковых алтарей, стояли в два ряда черные монахини, с четками в руках. Царственно-суровая игуменья, положив левую руку на черный посох с желтой костяной рукояткой, стояла

САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ БЛИЗ
ЗВЕНИГОРОДА

Красная башня (XVII в.)

Фотография А. Н. Дубовикова,
1965



против средних царских врат в высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжизненностью, ровно и бесстрастно, высокими женскими альтами, пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорбных излияний вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках...

Когда служба отошла и монахини, под звон колоколов, под жарким солнцем, стали расходиться из церкви в разные стороны, к своим кельям, я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошел туда, постучал в дверь. Вышла высокая, мужественная монахиня с черными внимательными глазами, вся в черном, с белой коленкоровой наколкой на голове. Выслушав меня, она помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, необыкновенно чистых, весело озаренных солнцем. В одной топились печка и горела на столике розовая лампадка, было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкапами, там стояли два стола для чтения и фисгармония. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, все продолжая следить за мной серьезными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя ее, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым светило солнце и шел ровный лепет зеленой древесной листвы...

Между прочим, я узнал, что под монастырем находится громадное под-земелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц кото-

рого списаны святые на иконостасе в церкви. Есть гробницы еще времен Грозного. Историк монастыря, перечисляя гробницы, дает и краткие жизнеописания погребенных в них. «В гробнице такой-то погребен такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным... В гробнице такой-то — тот-то, убиенный в 1612 году...». В следующей — «отрок Сергей, убитый лошадью; родился в 1698 году, преставился в 1715; был иноком с четырнадцати лет; красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в оной, с детства стремился он к богу и вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей...»

В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошел к склепу, откуда идет спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился: только заглянул между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмоленных колоды — и поскорее пошел прочь...

...На прощанье попал еще в одно старинное место, еще в одну усадьбу. Опять широкий двор, стертые камни старинного крыльца, в доме сложные вековые запахи... Из полутьмы большой гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошел в еще более просторный, но светлый зал, весь позлащенный солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты... Неужели не приукрашали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядевший со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несравненная прелесть форм, облитых тонким шелком, неземная красота радостно-восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы! В библиотеке — портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вольтеровское, как часто это бывало в те годы: белый густой парик, нежное румяно-желтое лицо с впалыми щеками, едкие, пронизательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату? А комната такая, что, кажется, остался бы в ней навеки: низкие книжные шкапы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и сафьяновых корешках за их стеклами, посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик; кругом, по лаковому полу, блеск и игра лучей, а за широкими полукруглыми окнами — безбрежные серебристые леса... В «Расходной книге» этого имения прочел между прочим: «Отпущено псарю Тимофею 60 аршин алаго атласу на кафтан...», и мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закусенный язык... Потом смотрел другие книги: откуда и в них, в самый расцвет благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления «к богу и вечности», эти горестно-возвышенные упреки земле и человеку?

Почто, о человек! стремишься
 Всегда за счастьем земным?
 Неужли ты надеждой льстишься
 Вовеки наслаждаться им?

<1930>

И. А. Б у н и н. Божье древо (Париж, 1931). Под общим заглавием «Странствия». Впервые: «Возрождение», Париж, 1930, № 3564 и 3567, 25 и 28 декабря, под тем же заглавием, с датой: «1930 г. Приморские Альпы». Подпись: Ив. Бунин.

Воспроизведено (со значительными сокращениями): «Дон», 1968, № 9.

Из 18 этюдов, составляющих цикл, четыре в настоящую публикацию не включены.

¹ Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках в 1921 г. был превращен в мемориальный музей (ныне — филиал Гос. музея Л. Н. Толстого).

² Остафьево — бывшее имение князей Вяземских, ныне — дом отдыха. Пушкинские реликвии, о которых упоминает Бунин, принадлежали П. А. Вяземскому; теперь они находятся во Всесоюзном музее А. С. Пушкина (Ленинград).

³ 31 мая 1931 г. прах Н. В. Гоголя был перенесен на Новодевичье кладбище.

⁴ Бунин имеет в виду палаты бояр Волковых, построенные в конце XVII в. (Хоромный тушик, 4). Существовала легенда, необоснованно связывавшая этот дом с именем Ивана Грозного (см. «Столица и усадьба», 1914, № 16-17). С середины XVIII в. дом принадлежал князьям Юсуповым. После Великой Октябрьской революции юсуповское собрание картин и предметов древности было превращено в музей, а затем вошло в состав коллекций Гос. Исторического музея. Ныне в этом доме находится Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина.

⁵ В подмосковном селе Измайлово находилась загородная резиденция царя Алексея Михайловича. Сохранились: Покровский собор (1679 г.) и отдельные постройки — Мостовая (или «Думная») башня (1671 г.), западные въездные ворота (1682 г.).

⁶ Троицкое-Кайнарджи (близ ст. Кучино Горьковской ж. д.) — поместье, пожалованное Екатериной II графу П. А. Румянцеву-Задунайскому. Дворец Румянцевых был разрушен в XIX в., церковь в селе Фенино (конец XVIII в.) сохранилась. Румянцев освободил крестьян Фенина от крепостной зависимости, и в память этого события у въезда из села был поставлен бронзовый памятник Екатерине II работы В. И. Демут-Малиновского. Памятник представляет собой композицию, состоящую из скульптурного портрета Екатерины II и статуи «Мир», которую имеет в виду Бунин. Ныне находится в Гос. научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева на территории Донского монастыря (Москва).

⁷ Кафтап (ферязь) Ивана Грозного, ранее хранившийся в ризнице Троице-Сергиевской лавры, ныне находится в Гос. Историческом музее (Москва).

⁸ Саввино-Сторожевский монастырь близ Звенигорода (конец XIV—XVII вв.); ныне в нем помещаются Звенигородский краеведческий музей и дом отдыха. Церковь «на Старом Городище» — Успенский собор «на Городке» (XV в.) близ Звенигорода.

⁹ Очевидно, подразумевается Троице-Калязин монастырь, который иногда называли Макарьевским по имени его основателя. Находился на Волге близ Калязина. В связи с постройкой угличской плотины территория этого монастыря оказалась в зоне затопления.

СОКОЛ

Иван — охотник, лодырь. Живет с краю деревни, возле погоста. Погост на косогоре, скучный: голые глинистые бугорки, взрытые свиньями, истоптанные овцами, которые до земли выглодали сухую траву между ними; над одной могилой тощая лозинка, на лозинке вниз головой висит дохлая галка, насквозь источенная муравьями; в одном голубце, рядом с фольговой иконкой, свила гнездо мухоловка... К погосту и прилегает гумно Ивана, нищее, пустое: раскрытый хребет риги, старый тележный ящик, рогатая соломорезка — и все заросло травой, бурьяном.

Когда мы шли к его избе с деревни, от нас стремглав, припадая к земле шей, неслась его единственная наседка и с отчаянно-восклицательным криком взвилась в ее разбитое окошко. На разрушенном крыльце, как-то по-вдоль свернувшись, лежала чернобровая собака с висячими ушами, грустно глядя на нас вкось, исподлобья.

— Иван,— спросили мы,— чем же ты ее кормишь?

Иван слегка удивился:

— Как чем? Да ничем. Это ее дело.

Перед крыльцом, на двух лопнувших колесах, рассыхалась на солнце пустая водовозка и бесцельно (видно, не зная, что делать) сидел на ее обрезе сизый, с серой грудкой голубь. Иван посмотрел, усмехнулся:

— Ишь в какую визиточку нарядился!

А в избе пол был завален чем попало — всякой добычей того памятного лета семнадцатого года: корыта, кадушки, треногое ободранное кресло, прихотливо изогнутая рама из палисандра, где от зеркала осталась только косая половинка, полотнище пыльной гардины, цинковая детская